

◆ ВСЕМИРНАЯ  
ЛИТЕРАТУРА ◆



ЮРИЙ  
БОНДАРЁВ



Батальоны  
просят огня



МОСКВА  
2022

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44  
Б81

Оформление серии *Н. Ярусовой*

В оформлении переплета использована репродукция  
картины «Брестская крепость. 1941 год» (1955 год)  
художника *Н. Я. Бута*.

**Бондарев, Юрий Васильевич.**  
Б81 Батальоны просят огня / Юрий Бондарев. — Мо-  
сква : Эксмо, 2022. — 288 с. — (Всемирная литература  
(с картинкой).

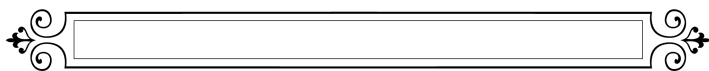
ISBN 978-5-04-164658-5

Юрий Бондарев — выдающийся русский писатель, прошедший  
в годы войны от Сталинграда до Чехословакии. В повести «Батальоны  
просят огня» Великая Отечественная война показана глазами русско-  
го солдата, это голая правда о войне.

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-164658-5

© Бондарев Ю.В., наследник, 2022  
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо»,  
2022



## ГЛАВА 1

**Б**омбежка длилась минут сорок. В черном до зенита небе, неуклюже выстраиваясь, с тугим гулом уходили немецкие самолеты. Они шли низко над лесами на запад, в сторону мутно-красного шара солнца, которое пульсировало в клубящейся мгле.

Все горело, рвалось, трещало на путях, и там, где еще недавно стояла за пакгаузом старая закопченная водокачка, теперь среди рельсов дымилась гора обугленных кирпичей; клочья горячего пепла опадали в нагретом воздухе.

Полковник Гуляев, морщась от звона в ушах, осторожно потер обожженную шею, потом вылез на край канавы и сипло крикнул:

— Жорка! А ну где ты там? Быстро ко мне!

Жорка Витьковский, шофер и адъютант Гуляева, гибкой независимой походкой вышел из пристанционного садика, грызя яблоко. Его мальчишеское наглое лицо было спокойно, немецкий автомат небрежно перекинут через плечо, из широких голенищ в разные стороны торчали запасные пенальные магазины.

Он опустился возле Гуляева на корточки, с аппетитным треском разгрызая яблоко, весело улыбнулся пухлыми губами.

— Вот бродяги! — сказал он, взглянув в мутное небо, и добавил невинно: — Съешьте антоновку, товарищ полковник, не обедали ведь...

Это легкомысленное спокойствие мальчишки, вид пылающих вагонов, боль в обожженной шее и это яблоко в руке Жорки внезапно вызвали в Гуляеве злое раздражение.

— Воспользовался уже? Трофеев набрал? — Полковник оттолкнул руку адъютанта и хмуро встал, отряхивая пепел с погон. — А ну разыщи коменданта станции! Где он, черт бы его!..

Жорка вздохнул и, придерживая автомат, не спеша двинулся вдоль станционного забора.

— Бегом! — крикнул полковник.

То, что горело сейчас на этой приднепровской станции, лопалось, взрывалось и малиновыми молниями вылетало из вагонов, и то, что было покрыто на платформах тлеющими чехлами, — все это значилось словно бы собственностью Гуляева, все это прибыло в армию и должно было поступить в дивизию, в его полк, и поддерживать в готовящемся прорыве. Все гибло, пропадало в огне, обугливалось, стреляло без цели после более чем получасовой бомбежки.

«Бестолочь, глупцы! — гневно думал Гуляев о коменданте станции и начальнике тыла дивизии, грузно шагая по битому стеклу к вокзалу. — Под суд сукиных сынов мало! Обоих!» На станции уже стали появляться люди: навстречу бежали солдаты с потными лицами,

танкисты в запорошенных пылью шлемах, в грязных комбинезонах. Все подавленно озирали дымный горизонт, и щуплый низенький танкист-лейтенант, ненужно хватаясь за кобуру, метался меж ними по платформе, орал срывающимся голосом:

— Тащи бревна! К танкам! К танкам!..

И, наткнувшись растерянным взглядом на Гуляева, только покривился тонким ртом.

Впереди, метрах в пятидесяти от перрона, под прикрытием каменных стен чудом уцелевшего вокзала, стояла группа офицеров, доносились приглушенные голоса. В середине этой толпы на голову выделялся высоким ростом командир дивизии Иверзев, молодой, румяный полковник, в распахнутом стального цвета плаще, с новыми полевыми погонями. Одна щека его была краснее другой, синие глаза источали холодное презрение и злость.

— Вы погубили все! Па-адлец! Вы понимаете, что вы наделали? В-вы!.. Пон-нимаете?..

Он коротко, неловко поднял руку, и стоявший возле человека, как бы в ожидании удара, невольно вскинул кверху голову — полковник Гуляев увидел белое, дрожавшее дряблыми складками лицо пожилого майора, начальника тыла дивизии, его опухшие от бессонной ночи веки, седые взлохмаченные волосы. Бросились в глаза неопрятный, мешковатый китель, висевший на округлых плечах, нечистый подворотничок, грязь, прилипшая к помятому майорскому погону; запасник, по-видимому работавший до войны хозяйственником, «папаша и дачник»... Втянув голову в плечи, начальник тыла дивизии тупо смотрел Иверзеву в грудь.

— Почему не разгрузили эшелон? Вы понимаете, что вы наделали? Чем дивизия будет стрелять по немцам? Почему не разгрузили?..

— Товарищ полковник... Я не успел...

— Ма-алчите! Немцы успели!

Иверзев шагнул к майору, и тот снова вскинул мягкий подбородок, уголки губ его мелко задержались, в бессилии он плакал; офицеры, стоявшие рядом, отводили глаза.

В ближних вагонах рвались снаряды; один, видимо броневой, жестко фырча, врезался в каменную боковую стену вокзала. Посыпалась штукатурка, кусками полетела к ногам офицеров. Но никто не двинулся с места, лишь глядели на Иверзева: плотный румянец залил его другую щеку.

— Под суд! — низким голосом выговорил Иверзев. — Я отдам вас под суд! Полковник Гуляев, подойдите ко мне!

Гуляев, оправляя китель, подошел с готовностью; но этот несдержанный гнев командира дивизии, это усталое, измученное лицо начальника тыла сейчас уже неприятно было видеть ему. Он недовольно нахмурился, косясь на пылающие вагоны, проговорил глухим голосом:

— Пока мы не потеряли все, товарищ полковник, необходимо расцепить и рассредоточить вагоны. Где же вы были, любезный? — невольно поддаваясь презрительному тону Иверзева, обратился Гуляев к начальнику тыла дивизии, оглядывая его с тем болезненно-сострадательным выражением, с каким глядят на мучимое животное.



Майор, безучастно опустив голову, молчал; седые слипшиеся волосы его топорщились на висках неопрятными косичками.

— Действуйте! Дей-ствуй-те! В-вы, растяпа тыла! — крикнул Иверзев с бешенством. — Марш! Товарищи офицеры, всем за работу! Полковник Гуляев, разгрузка боеприпасов под вашу ответственность!

— Слушаюсь, — ответил Гуляев.

Иверзев понимал, что это глуховатое «слушаюсь» еще ничего не решает, и, едва сдерживая себя, перевел внимание на коменданта станции — сухощавого, узкоплечего подполковника, замкнуто курившего у ограды вокзала, — и добавил тише:

— А вы, товарищ подполковник, ответите перед командующим армией за все сразу!..

Подполковник не ответил, и, не ожидая ответа, Иверзев повернулся — офицеры расступились перед ним — и крупными шагами пошел к «виллису» в сопровождении молоденького, тоже как бы рассерженного адъютанта, щеголевато затянутого в новые ремни.

«Уедет в дивизию», — подумал Гуляев без осуждения, но с некоторой неприязнью, потому что по опыту своей долгой службы в армии хорошо знал, что в любых обстоятельствах высшее начальство вольно возлагать ответственность на подчиненных офицеров. Он знал это и по самому себе и поэтому не осуждал Иверзева. Неприязнь же объяснялась главным образом тем, что Иверзев назначил ответственным именно его, безотказного работягу фронта, как он иногда называл себя, а не кого другого.

— Товарищи офицеры, прошу ко мне!

Гуляев лишь сейчас близко увидел коменданта станции; меловая бледность его лица, вздрагивающие худые пальцы, державшие сигарету, позволяли догадаться, что этот человек сейчас пережил. «Отдадут под суд. И за дело», — подумал Гуляев и сухо кивнул подполковнику, встретив его ищущий взгляд.

— Ну, будем действовать, комендант!

Когда несколько минут спустя комендант станции и Гуляев отдали распоряжение офицерам и к горящим составам, зашипев паром, подкатил маневровый паровозик с перепуганно высунувшимся машинистом, а тяжелые танки стали, глухо ревя, сползать с тлеющих платформ, к полковнику, кашляя, задыхаясь, моргая слезящимися глазами, подбежал начальник тыла дивизии, затряс седой головой.

— Боеприпасы одним паровозом мы не спасем! Погубим паровоз, людей, товарищ полковник!..

— Эх, братец вы мой, — досадливо сказал Гуляев. — Разве вам в армии служить? Где ж вы фуражку-то потеряли?

Майор скорбно улыбнулся.

— Я постараюсь... Я все, что смогу... — заговорил майор умоляюще. — Комендант сообщил: прибыл эшелон. Из Зайцева. Стоит за семафором. Я сейчас за паровозом. Разрешите?

— Мигом! — скомандовал Гуляев. — Одна нога здесь... И, ради бога, не козыряйте. Как корягу, руку подносите, черт бы вас драл! И без фуражки!..

Майор сконфуженно попятился, рысцой побежал к перрону, неуклюже колыхая плечами, подпрыгивая, наталкиваясь на танкистов; они раздраженно матери-

лись. Его мешковатый китель, взлохмаченная голова мелькнули в последний раз в конце перрона, в сизо-оранжевом дыму близ крайних вагонов, где с треском, с визгом осколков лопались снаряды.

— Жорка! А ну за майором! Помоги! А то носит его... видишь? За смертью гоняется! — сказал Гуляев. Жорка усмехнулся, ответил небрежно:

— Есть, — и последовал за майором своей цепкой, скользкой походкой.

Полковник Гуляев ходил около вокзала, глядел на пылающие вагоны со вздыбленными крышами, сознавая, что все здесь охваченное огнем могло спасти только чудо. Он думал о том, что этот пожар, уничтожающий боеприпасы и снаряжение не только для истощенной в боях дивизии, но и для армии, оголял его полк, батальоны которого подтянулись к Днепру в течение прошлой ночи. И как бы умны ни были сейчас распоряжения Гуляева, как бы ни кричал он, ни взвизгивал людей, все это теперь не спасало положения, не решало дела.

Он видел, как бегал в дым и вновь выныривал в просветах пожара маневровый паровозик, свистя, носился по путям с прилипшим к буферу сцепщиком, разъединял искореженные осколками вагоны, оглушая лязгом железа, толкал их в тупик. Танки обрушивались через края платформы на бревна, скатывались на землю; недовольно ревя, будто обожженные звери, уползали к лесу за станционным зданием.

Мимо вокзала пробежал высокий танкист-подполковник, лицо его было озлоблено, все в темных пятнах гари, он не заметил Гуляева.

— Подполковник! — зычно окликнул Гуляев, чуть подбирая полнеющий живот, как делал это всегда, готовясь отдать приказание.

— Чего вам? — Танкист остановился. — Я вам не подчинен!..

— Сколько танков вышло из строя?

— Не подсчитано!

— Тогда вот что! Освободятся люди — пошлите их на расцепку вагонов! Сейчас придет еще паровоз...

— Я людьми швыряться не намерен, товарищ полковник! Как воевать без людей буду?

— А как же будет воевать дивизия? А? Вся дивизия? — спросил Гуляев, чувствуя, что снова сбивается на тон Иверзева, и раздражаясь на себя за это. Воспаленные веки танкиста упрямо сузились.

— Не могу! Я отвечаю за своих людей, полковник!

В ближайшем вагоне с грохотом взорвалось несколько снарядов, взметнулась крыша, дохнуло обжигающим жаром. Лицам стало горячо. На мгновение оба отвернулись, их заволокло дымом; танкист закашлялся.

— Товарищ полковник, разрешите обратиться? — послышался в эту минуту за спиной Гуляева насмешливый голос.

— По-до-жди-те! — холодно, не оборачиваясь, проговорил Гуляев и добавил жестко: — Я потребую... потребую выполнения, танкист!

— Товарищ полковник, разрешите обратиться?

— Кто еще тут? — Гуляев, морщась, круто повернулся и удивленно воскликнул: — Капитан Ермаков? Борис? Откуда тебя черти принесли?

— Здравия желаю, товарищ полковник.

Среднего роста капитан в летней выгоревшей гимнастерке с темными следами от портупей стоял возле; тень от козырька падала на половину смуглого лица, карие, дерзкие глаза, белые зубы блестели в обрадованной улыбке.

— Ну, не узнаете, товарищ полковник! — оживленно повторял он. — Что, не верите? Доложить, что ли?

— Да откуда тебя черти принесли? — вновь проговорил Гуляев, сначала нахмурился, потом засмеялся, грубовато стиснул капитана в объятиях и сейчас же отстранил его, косясь через плечо.

— Идите, — буркнул он танкисту. — Идите.

— Дайте жрать, полковник! Толком четыре дня не ел! — сказал капитан, улыбаясь. — Я сутки без дымового довольствия!..

— Да откуда ты?.. Докладывай!

— Из госпиталя. Ждали в пути, когда кончится у вас тут. Потом появляется Жорка с майором, ну и... прикатили на паровозе.

— Легкомыслие? Шутишь все? — пробормотал Гуляев, всматриваясь в заштопанный рукав капитанской гимнастерки, и густо побагровел. — Не писал из госпиталя, хинная ты душа! А? Молчал, ухарь-купец!

— Я хочу не есть, а жрать! — ответил капитан, смеясь. — Дайте хоть сухарь! Водки не прошу.

— Жорка! — крикнул полковник. — Проведи капитана Ермакова к машине!

Жорка, до этого скромно стоявший в стороне, просветлел лицом, заговорщицки подмигнул капитану голубым невинным глазом:

— Тут в лесу. Недалеко.

Все, что можно было сделать в создавшихся обстоятельствах, было сделано. Устало догорали загнанные в тупики вагоны; с последним, как бы неохотным треском запоздало рвались снаряды. Пожар утих. И только теперь стало видно, что стоял теплый, погожий день припозднившегося бабьего лета. Чистое сияющее небо со стеклянно высокой синевой развернулось над лесной станцией. И лишь на западе неуловимо светились в бездонной его глубине беззвучные зенитные разрывы.

Порыжевшие, тронутые осенью приднепровские леса, окружавшие черное пепелище путей, обозначились четко, как в бинокле.

Полковник Гуляев, потный, разомлевший, не без наслаждения скинув горячие сапоги с усталых ног, подставив ноги солнцу и расстегнув китель на волосатой пухлой груди, лежал в станционном садике под облетевшей яблоней. Здесь все по-осеннему поблекло, поредело, везде неяркий блеск солнца, везде хрупкая прозрачная тишина, вокруг легкий шорох палях листьев, чуть-чуть тянуло свежим воздухом с севера.

Капитан Ермаков лежал рядом, тоже без сапог, без ремня и фуражки. Полковник, хмурясь, сбоку рассматривал его исхудалое, побледневшее лицо, прямые брови; черные волосы упали на висок, шевелились от ветра.

— Та-ак, — проговорил Гуляев. — Никак, раньше времени прибежал? Что, не терпелось, терпезу не было?

Ермаков вертел опавший яблоневый лист, задумчиво шурился на него.

— Променять госпитальную койку вот на это... стоило, честное слово, — ответил он, сдунул лист с ладони, проговорил полусерьезно: — Вы что-то, полковник, растолстели. В обороне стоите?

— Ты мне не вкручивай, — недовольно перебил Гуляев. — Я спрашиваю, почему прибежал?

Ермаков потянулся к яблоне, сорвал голую веточку, внимательно осмотрел ее, сказал:

— Вот, оторвал эту ветку — и она погибла. Верно? Ладно, оставим лирику. Как там моя батарея, жива? — И, слегка усмехнувшись, повторил: — Жива?

— Твоя батарея ночью форсировала Днепр. Ясно? — Гуляев повозился, поерзал животом по желтой траве, по сухим листьям, спросил: — Какие еще вопросы?

— Кто командует батареей?

— Кондратьев.

— Это хорошо.

— Что хорошо?

— Кондратьев.

— Вот что, — грубовато и решительно проговорил Гуляев, — хочу предупредить тебя, и без шуток, дорогой мой. Будешь грудью по-дурацки, по-ослиному пули ловить, храбрость показывать — к чертовой бабушке спишу в запасной полк! И баста! Спишу — и баста! Убьют ведь дурака! Что?

— Ясно, — сказал капитан. — Все ясно.

Обветренное, крупное, заметное покатым морщинистым лбом лицо полковника медленно отпускало выражение недовольства, нечто похожее на улыбку слабо тронуло его губы, и он проговорил с грустным весельем:

— Оторванная ветка! Ска-жи-те! Философ, пороть тебя некому!

Лежа на спине, Ермаков по-прежнему задумчиво глядел в холодноватую синеву неба, и Гуляев подумал, что этому молодому здоровому офицеру мало дела до его слов, до откровенного беспокойства, не предусмотренного никаким уставом, — они знали друг друга со Сталинграда. Был полковник одинок, вдов, бездетен, и он точно бы видел в Ермакове свою молодость и многое прощал ему, как это иногда бывает у немало поживших на свете и не совсем счастливых одиноких людей.

Долго лежали молча. Пустой, перепутанный паутиной садик был насквозь пронизан золотистым солнцем. В теплом воздухе планировали листья, бесшумно стучаясь о ветви, цепляясь за паутину на яблонях. В тишину долетало отдаленное гудение танков из леса, тонкое шипение маневого паровозика на путях, отзвуки жизни.

Сухой лист упал полковнику на плечо. Он медленно смял его в кулаке, скосил глаза на Ермакова.

— Прорывать оборону будем. Крепкий орешек на правом берегу. Что замолчал?

— Так, думаю. И сам не знаю о чем, — сказал Ермаков.

Со стороны вокзала, приближаясь, слышались голоса, показавшиеся странными здесь, — женские голоса, звучные и будто стеклянные в тихом воздухе полуоблетевшего сада. Полковник Гуляев, неловко повернув обожженную шею, крикнул от боли, недоуменно оглядываясь, спросил:



— Это что же такое?

По тропе, левее вокзала, через сад двигались две женщины, несли огромный сундук, переплетенный веревками. Одна, молодая, босоногая, в выцветшей блузке, небрежно заправленной в юбку, шла изогнувшись, напрягая крепкие икры, другая, постарше, была в мужской телогрейке, в сапогах, смуглое лицо измождено, волосы растрепались, и солнце, бившее сзади, просвечивало их.

— Далеко ли, красавицы? — крикнул Гуляев и, кряхтя, сел, потер колени.

Женщины опустили сундук; молодая выпрямилась, нестеснительно оглядела грузноватую фигуру Гуляева, игриво-дерзким взглядом скользнула по лицу Ермакова и вдруг фыркнула, засмеялась.

— Помогли бы, товарищ полковник, вещи у нас больно тяжелые! Seriously...

Ермаков спросил с явным интересом:

— А вы что же, недалеко живете? Здешние?

Молодая заулыбалась, выставила грудь, ловкими пальцами поправила косынку над тонкими бровями, а та, что постарше, в телогрейке, потупилась, смугло покраснела. Молодая бойко сказала:

— Мы рядом тут. В лесу село... Одни мы! Просто одни. Помогли бы?..

— Пойдем? — полувопросительно сказал Ермаков. — А, товарищ полковник?

— Да ты что? — свирепым шепотом остановил его Гуляев и протестующе замахал крупной рукой. — Не в форме мы, красавицы, босиком, видите? Наше дело военное, бабоньки, некогда нам! Идите, идите себе!

Немного спустя, когда женщины скрылись в конце сада, полковник, наморщив озабоченно лоб, заторопился, стал натягивать шерстяные носки, говоря:

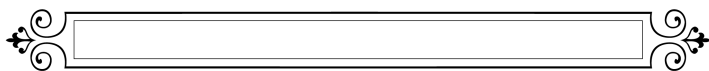
— Кончено. Поехали. Хватит.

Ермаков шутливо сказал ему:

— А может быть, пойдем? Надо бы помочь.

— Да ты что? — Гуляев, багровея, ожесточенно вбил ногу в узкий сапог, резко одернул на животе китель. — Нечего нам тут. Залежались. Дел по горло!

Косматое нежаркое солнце садилось в леса.



## ГЛАВА 2

**Н**очь застала их в дороге, холодная, звездная октябрьская ночь. Шумом, движением, людскими голосами была наполнена лесная темнота. Жорка изредка включал фары, и в белом коридоре то мелькала оскаленная, скошенная на свет морда лошади, то заляпанный грязью борт грузовика, то кухня, разбрызгивающая по дороге раскаленные угли, то щит орудия и нахохленные спины ездовых, то непроspanные лица солдат. Все это двигалось, шло, ехало, копошилось, скакало во тьме туда, где за лесами тек Днепр.

— Гаси! Гаси фары, дьявол! — метнулся от подпрыгивающей впереди повозки крик, мимо скользнуло белое лицо ездового, и по борту «виллиса» жестяно хлестнул кнут.

— Надо бы через спину тебя протянуть, — ворчливо пробормотал полковник. — А ну, гаси. И перестань жевать, ну?

Хмуро вобрав голову в плечи, Гуляев смотрел сквозь ветровое стекло на дорогу; Жорка лениво грыз сухарь,

одной рукой держал руль, изредка поглядывая вверх, где текло мерцающее холодное небо.

— Вот бродяга! — сказал он и спрятал сухарь в карман. — Гляньте-ка, товарищ полковник, опять фонари развесили.

В небе распушался сумрачный желтый свет: четыре осветительные бомбы, роняя искры, высоко висели над лесом среди звезд. Они медленно летели, косо и тихо опускаясь. Вверху выступили из темноты, четко прорезались оголенные вершины деревьев. Лес сразу ожил, черные тени кустов поползли, задвигались на дороге, мешаясь с тенями людей, машин, повозок; впереди ожесточенно взревели танки, кто-то зычно подал команду из глубины колонны:

— Сто-ой!

Жорка вопросительно поднял одну бровь; полковник проговорил в воротник:

— Объезжай.

«Виллис» обогнул колонну машин, тесно сгрудившиеся повозки, орудия, понесся впритирку к лесу, ветви захлестали, забили по бортам, упруго подбрасывало на корневищах. Деревья расступились, стало по-дневному светло. Над головой, разгораясь, плыли «фонари». Впереди с громом рванулось двойное пламя, и в лесу ахнуло, загремело, как в пустых коридорах.

— Куда? Куда под бомбы прешь? Не видишь? — закричал кто-то отчаянным голосом, и человеческая фигура метнулась перед радиатором. — Ку-уда?..

— Стоп! — скомандовал Гуляев, вынося вон из машины ногу.

«Виллис» с ходу затормозил, и Ермаков ударился бы о спинку переднего сиденья, если бы не спружинил

руками. Полковник вылез, пошел вперед к сумеречно освещенной «фонарями» колонне танков; моторы работали, стреляя резкими выхлопами, танки продвигались толчками к матово отблескивающей воде. Там, в проходе, образованном съехавшими к обочине повозками и кухнями, они с гулом вползали на качающийся понтонный мост.

— Днепр? — спросил Ермаков, наклоняясь к уху Жорки.

— Не-е, рукав... Днепр дальше, — ответил Жорка. — Почуяли, бродяги, все время тут долбят... Во кинул, бродяга! Слышите — поросята завизжали?

Заглушая гул танковых моторов, крики у переправы, ржанье лошадей, новые пронзительные, рвущие воздух звуки возникли в небе. Небо обрушилось; ослепляя, брызнули шипящие кометы, полыхнули огнем в глаза; «виллис» с силой толкнуло назад. Ермаков, испытывая холодно-щекочущее чувство опасности, притупившееся в госпитале, смотрел на разрывы, затем увидел в хаосе рвущихся вспышек на миг повернутое к нему лицо Жорки, сквозь грохот прорвался его голос:

— Ложи-ись, товарищ капитан! Пикирует!

И Ермаков, возбужденный, со сжавшимся сердцем, — отвык, отвык! — делая размеренные движения, вылез из машины и, чувствуя глупость того, что делает, заставил себя не лечь, а стоять, наблюдая за дорогой.

В ту же минуту металлический нарастающий рев мотора начал давить на уши. С белесого неба стремительно падала на переправу тяжелая тень, оскаливаясь пулеметными вспышками. И он поспешно лег возле машины. Красные короткие молнии, подымая ветер, отвесно неслись вдоль колонны. Упала, забила в

оглоблях, заржала лошадь. «О-ох, о-ох», — послышалось из леса; что-то зашлепало по мокрому песку вокруг головы Ермакова, и он непроизвольно нащупал и отбросил горячую крупнокалиберную гильзу.

В глубине леса учащенно и запоздало застучали скорострельные зенитные орудия. Трассы вслепую рассыпались в небе, все мимо, мимо тяжелого низкого силуэта самолета. Гул его удалялся. Зенитки смолкли. Угасающие «фонари» опустились к самой воде. И было слышно, как на другой стороне рукава слитно рокотали танки: они переправились во время бомбежки. Ермаков поднялся с земли, разозленный, подавленный тем, что чувство страха оказалось сильнее его, отряхнул сырой налипший на колени песок, подумал: «Разнежился. Конец. Прежняя жизнь начинается».

— Из санроты! Где санрота? Санитары! — донесся крик из колонны, и она зашевелилась, задвигались фигуры меж повозок и машин.

— Жорка! — раздался голос Гуляева. — Все целы?

— Целы, целы. Поехали, — ответил Ермаков преувеличенно спокойно.

«Виллис» снова понесся по дороге к Днепру.

Ермаков смотрел на мелькающие стволы берез, на темную нескончаемую колонну; сырой ветер обливал холодом потную от возбуждения шею, еще не прошло раздражение на самого себя после только что пережитого страха; он не любил себя такого.

Так же, как большинство на войне, Ермаков боялся случайной смерти: смерть в нескольких километрах до фронта всегда казалась ему такой же унизительно глупой, как гибель человека на передовой, вылезшего с расстегнутым ремнем из окопа по своей нужде.

— Началось наше, — сказал Жорка и осторожно захрустел сухарем, включил на мгновение фары. Вспыхнув, они скользнули по борту «студебеккера», осветили маслено заблестевшую пехотную кухню в кустах, толпу солдат с котелками; потом на перекрестке дорог выхватили на стволе сосны деревянную табличку-указатель «Хозяйство Гуляева». Эта стрела показывала влево, другая прямо — «Днепр». Машины, повозки и люди текли туда через лес, где неясный зеленый свет мигал и гас над вершинами деревьев.

Полковник Гуляев сказал:

— Давай в хозяйство.

— Жорка, остановись! — громко приказал Ермаков.

— Что такое?

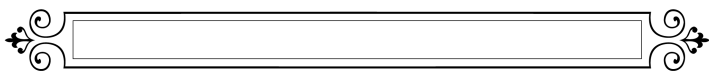
«Виллис» остановился; встречный ветер упал, был слышен буксующий вой «студебеккера», слитный скрип колес, фыркание лошадей, голоса. Ермаков молча спрыгнул на дорогу, потянул из машины планшетку.

— В батарею? — устало спросил Гуляев. — Стало быть, в батарею? Так вот что. Там тебе делать нечего. Н-да! Кондратьев там. Артиллерии в дивизии много. Найдем место. Не торопись. Была бы шея, а хомут...

— Может, в адъютанты возьмете, полковник? — усмехнулся Ермаков. — Или в комендантский взвод?

— А! Некогда мне с тобой антимонии разводить! Некогда! — Гуляев вдруг засопел, со злым раздражением толкнул Жорку локтем. — Поехали! Спишь? Гони, гони! Что смотришь?

Ермакова обдало теплым запахом бензина, махнуло по лицу воздухом, темный силуэт «виллиса» запрыгал в глубине лесной дороги, исчез.



### ГЛАВА 3

Серии ракет всплывали на правой стороне Днепра; черная вода каскадом загоралась под обрывом дальнего берега. Свет ракет опадал клочьями мертвого огня, и тогда отчетливо стучали крупнокалиберные пулеметы. Трассирующие пули веером летели через все пространство реки, вонзались в мокрый песок острова, тюкали в стволы сосен, вспыхивая синими огоньками. Это были разрывные пули. Срезанные ветви сыпались на головы солдат, на повозки, на котлы кухонь.

По несколько раз подряд на правой стороне скрипуче «играли» шестиствольные минометы, низкое небо расцвечивалось огненными хвостами мин. Они рвались с тяжким звоном, засыпая мелкие, зыбкие песчаные окопчики. Немцы били по всему острову — на звук голосов, на случайную вспышку зажигалки, на шум грузовиков, — остров кишел людьми.

Ночью стало холодно, ветрено, сыро. Сосны поосеннему тягуче гудели, от воды вместе с ветром приносило тошнотворный запах разлагающихся трупов — их прибывало течением.



Но там, возле воды, были и живые люди — постукивал топор, доносились голоса, кто-то ругался грубо, сиплый тенор, не сдерживая душу, костерил кого-то:

— Ты чего сигарки жуешь, а? Ты сколько раз собрался умирать, растяпа! А ну бросай!..

И было видно, как при взлете ракет темные силуэты саперов падали в воду, на песок; прекращался стук топора. Изредка тот же сиплый тенор, поминая бога и мать, звал санитаря, и кого-то уносили на плащ-палатке, спотыкаясь в воронках.

А метрах в ста пятидесяти от берега, в воронке от бомбы, прикрытый брезентом, тлел костерок из снарядных ящиков. Было здесь дымно, пахло паром сырых шинелей.

Протянув разомлевшие ноги к жидкому огоньку, вокруг сидело и лежало несколько солдат-артиллеристов. Они молчали, дремотно поглядывали на наводчика Елютина, который, спокойно вытянувшись на снарядных ящиках, тихонько копался перочинным ножом в разобранных ручных часах.

Сержант Кравчук, крепколицый парень лет двадцати пяти, помял над огнем высохшую портянку и со строгим видом, держа ногу на весу, начал обматывать ее. Потом замер, глянул назад.

— Кто это там на голову сел?.. — сурово поинтересовался он. — Глаза где?

— Лузанчиков вроде, — сказал телефонист Грачев, разлепляя глаза, и сонно подул в трубку. — Чего там у вас? Танки гудят?..

Кравчук шевельнул плечами, медленно повернулся. Подносчик снарядов Лузанчиков, сжавшись худенькой фигуркой, привалился к его спине, спал, охватив коле-

ни, тонкие до жалости руки подрагивали в ознобе; по детскому, заострившемуся лицу беспокойно бродили тени — отблески мутного сна. Кравчук угрюмо сказал:

— Беда с мальцами. Просто детские ясли.

— А? — спросил во сне Лузанчиков еле слышным голосом.

Кравчук, подумав, неуверенно приподнялся, потянул из-под себя плащ-палатку и с недовольным видом накинул ее на плечи Лузанчикова. Тот, не открывая глаз, дрожа веками, закутался в нее, беспомощно подобрал ноги калачиком.

— Н-да-а, чуток не захлебнулся, — сказал Кравчук, наматывая портянку.

— Плавать не умеет. Намучаешься с ним.

Замковый Дервянко, весь черный, как жук, ехидно крякнул, сделал вспоминающее лицо, и тотчас солдаты повернули к нему головы.

— На Волге до войны катер ходил осводовский. И в рупор без конца орал: «Граждане купающиеся, по причине общего утонутья просьба не заплывать на середину реки!» Туточки тебе, Кравчук, в рупор не заорут. Можно быть вумным, как вутка, а плавать, как вутюг! Ты сам за бревно двумя руками держался!

— Хватит молотить! — оборвал его Кравчук. — Смехи все!

Дервянко вздохнул, сожалеюще заглянул в котелок.

— Какой смех! Второй раз на голодный желудок будем переправляться, не до смеху! Где старшина? Я б его пустым котелком разочков пять по загривку съездил. Аж звон пошел бы. Как на передовую — его нет!

— Ладно, разберемся, — ответил Кравчук, вставая.

В это время Елютин поднял глаза, прислушался и сказал:

— Летят.

Где-то вверху, над брезентом, возник давящий шорох — шу-шу-шшу-у, — перерастая в тяжелый рев, и близкие разрывы сотрясли землю, подкинуло костер, ящики, брезент взметнулся над краем воронки — и сюда, к костру, горячо дохнула, ворвалась ночь. Кравчук опытно пригнулся. Елютин быстро ладонью накрыл часы, словно птицу поймал с молниеносной ловкостью. Деревяшко заинтересованно крутил в руках пустой котелок. Откинув плащ-палатку, Лузанчиков испуганно вскочил, поводя круглыми, непонимающими глазами.

— Бомбят? — растерянно спросил он. — Да?

— Дальнобойная дура щупает, — ответил Кравчук, рванув брезент на воронку. — По квадратам бьет.

В наступившей тишине с тонким свистом над брезентом запоздало пролетел обессиленный осколок, тяжело и мокро шлепнулся в песок.

Тут, шурша ботинками по песку, в воронку скатился огромный солдат, в короткой не по росту шинели, его широкое лицо и незажженная самокрутка в зубах озарились отблесками костра. Он потер озябшие руки, весело, бедово глянул на Елютина, на нахмуренного Кравчука, присел на корточки к огню.

— Греемся, братцы славяне? Дай-ка за пазуху трошки угольков. Тебя, Кравчук, к комбату. И от Шурочки привет!

На щеках Кравчука зацвел смуглый румянец.

— Ты чего развеселился? — с ленивой суровостью спросил он. — Почему с поста ушел, Бобков, что, в деревне на печке?

— Если б на печке с бабешкой, кто бы отказался?

Бобков выхватил уголек из огня, перекатывая его на ладони, прикурил, сосредоточенно почмокал губами.

— Старший лейтенант говорит: иди, мол, погрейся, я все равно, мол, дежурю. На снарядах с Шурочкой сидят. Мечтают вроде.

Кравчук сердито откинул брезент и выкарабкался по скату воронки наружу, в холодную тьму.

Ветер шумел, топтался в кронах сосен. Дуло студено с Днепра. Там по-прежнему, распарывая потемки, взмывали ракеты, освещая черную воду и черное небо.

Поеживаясь от холода (у костра разморило), Кравчук поглядел на красные стаи пуль, которые, обгоняя друг друга, неслись к острову, осуждающе послушал гудение машин, скрип повозок по песку, голоса в темноте и зашагал, натываясь на корневища.

— Старший лейтенант! — вполголоса позвал он, ничего не видя в плотных потемках осенней ночи.

Впереди кто-то простуженно покашлял, и отозвался мягко картавящий голос:

— Вы, Кравчук?

— Я.

— Подойдите, пожалуйста, сюда. Я послал Склера искать старшину. Исчез куда-то старшинка. Кухни до сих пор нет.

— Тут ведь стреляют, — насмешливо произнес женский голос.

Кравчук огляделся: на снаряжных ящиках, подняв воротник шинели, сутулился старший лейтенант Кондратьев, сбоку, почти сливаясь с ним, сидела батарейный санинструктор Шурочка. Когда же подошел Кравчук, она не отодвинулась от комбата; он сам немного отстранился, простуженно спросил сквозь кашель:

— Как дела, сержант?

— Что же вы к костерку-то не идете, товарищ старший лейтенант? — Кравчук неодобрительно глянул на освещенное ракетой лицо Шурочки, добавил: — Кашляете... А шинель мокрая небось...

— Все обсушились? — отозвался Кондратьев. — Как Лузанчиков?

— Озяб. Опомниться не может.

— Что от Сухоплюева?

— Танки, говорят, там ходят.

— Это мы и отсюда слышим, — по-прежнему насмешливо сказала Шурочка, точно мстя сержанту за его осуждающий взгляд.

— Да, это я отсюда слышу, — повторил Кондратьев задумчиво. — Гудят.

И в это время с правого берега ударили танки. Спаренные разрывы на кромке острова осветили склоненные фигуры саперов. И снова: выстрел — разрыв.

— Вот они... Прямой наводкой, — сказал Кравчук. — В обороне врыты. И зацепился он как зверь. Что ж, опять купаться будем, товарищ старший лейтенант?

Он спросил это без тени улыбки — Кравчук не умел шутить — и долго глядел на правый берег, ожидая, что скажет Кондратьев. Тот молчал, молчала и Шурочка, и, понимая это молчание по-своему, Кравчук подумал,

что до его прихода был между ними иной разговор. Он осуждал командира батареи, но с особенной неприязнью судил он вызывающую эту Шурочку, которая открыто льнула к Кондратьеву. Он осуждал ее ревниво и хмуро, потому что хорошо знал о прежних отношениях ее и капитана Ермакова. Сержант недолюбливал Кондратьева за его странную манеру отдавать приказания: «прошу вас», «не забудьте», «спасибо» — и порой с чувством неудовольствия и удивления вспоминал те времена, когда капитан Ермаков перед всей батареей называл старшего лейтенанта умницей.

После того как капитан Ермаков отбыл в госпиталь и место его занял командир первого взвода Кондратьев, санинструктор Шурочка стала властно, на виду всей батареи, брать его в руки, командовать им, и Кравчука оскорбляло это бабье вмешательство. До этого он пытался ее защищать: тонкая, с высокой грудью, в ладной, всегда чистой гимнастерке, в хромовых сапожках, она вызывала в нем трудную тоску по женской ласке, но когда теперь Деревянко едко говорил, что она из тех, кто вечером ляжет на одном конце блиндажа, а утром проснется на другом, Кравчук не останавливал его, как прежде.

— Так как же, товарищ старший лейтенант? — переспросил Кравчук, в темноте чувствуя на себе взгляд Шурочки. — Снова купаться будем?

Помолчав, Кондратьев ответил тихо:

— Вряд ли все переправимся нынче ночью. Только что я разговаривал с саперным капитаном. Ругается на чем свет стоит — восемь человек у него за два часа выкосило. Пойдемте. Посмотрим, как там...

Он встал, и Кравчук увидел в мерцании ракет его сутуловатую фигуру в мешковатой шинели с нелепо торчащим воротником.

«Экий слабак, искупался в Днепре — простуду схватил», — неодобрительно подумал никогда в жизни не болевший Кравчук. Шурочка тоже поднялась, гибко, бесшумно, только сапожки скрипнули. Сказала властно:

— Старший лейтенант Кондратьев!

— Что, Шурочка?

— С вашим бронхитом не советую лазить в воду. Вам у костра погреться надо. Портянки просушить. Шинель. Выпить водки с аспирином.

— Что же делать, Шурочка? — виновато ответил Кондратьев. — Старшины нет. Водки нет.

«Что ты, умная такая, раньше обо всем этом молчала?» — сообразил Кравчук и со злостью сказал:

— На войне нет бронхита.

Кондратьев смущенно проговорил:

— Да, да, конечно. Идемте, Кравчук.

— Что же, пойдём! — твердо сказала Шурочка, будто Кондратьев обращался к ней. И пока шли впотьмах меж сосен, пока шагали по острову к берегу, Кравчук неотступно слышал позади тонкий, решительный скрип песка под Шурочкиными сапогами, думал: «Экая сатана-бабенка, ничего не боится, закрутит Кондратьеву голову. И кто это выдумал женщин на войне держать! Одна беда, неразбериха, тоска от них».

Они задержались на берегу, в сырой тьме, пронизываемые ветром. С явным недоверием прислушались к короткому затишью на той стороне — странно молчали

пулеметы в непроницаемо сгустившейся ночи, оттуда, из темноты, веяло сладковатой гнильцой трупов.

— Вот, — прошептал Кравчук. — Притихли...

— Ужин, — ответил Кондратьев, сдерживая кашель. — Немцы пунктуальны...

Потом донесся спешащий стук топора, голоса вблизи воды, отрывистые команды: «Шевелись»; «По-быстроу!» Там, внизу, ползали саперы вокруг сколачиваемого парома, и Кондратьев окликнул:

— Капитан, капитан!

— Кто там? Эй! Кто там? — отозвался из потемок прокуренный начальственный баритон. — Давай сюда!

Кондратьев не успел ответить. Над Днепром с шипеньем повисли гроздь ракет, заработали пулеметы, смешались зеленые и белые светы в небе, смешались трассы, конусом несясь к парому, и весь берег, фигурки саперов озарились, проступили из ночи, как на желтом листе бумаги. Гулко сдваивая, ударили танки. Слева возник широкий дымящийся синий столб, скользнул по берегу и уперся в какую-то лодчонку, подле которой мигом рассыпались люди.

— Ложись!

Они упали на мокрый песок, в свежую щепу у самого парома, над головой взвизгивали трассирующие пули.

— Разрывные, — пояснил Кравчук и увидел: к лежащему впереди Кондратьеву подползает от парома человек в офицерской фуражке.

— Кто такие? — спросил, преодолевая одышку, начальственный баритон.

— Как дела с паромом? — ответил Кондратьев.



— А вы не видите? Ей-богу! Ходите, демаскируете. Людей у меня косит. Дайте солдат. Человек пять-шесть. Пришлите людей... И дуйте отсюда.

— Сколько нужно людей?

— Десять человек.

— Много просите, — мягко возразил Кондратьев, и Кравчук, услышав, подумал облегченно: «Вроде правильно...»

— Давай, давай отсюда, артиллеристы... Видишь, прожектора появились... Давай! Не демаскируй!

Они ползком выбрались из района саперов и молча двинулись в глубь острова. Кондратьев покашливал. Шурочка шла рядом с ним. Кравчук спросил:

— Кого пошлем?

— Подумаем, — невнятно ответил Кондратьев.

Впереди послышалось фыркание лошади, легкий металлический звук; под деревьями, низко над землей, затлели угольки, дохнуло теплым запахом подгоревшей пшенной каши.

— Кто идет? — раздался неподалеку полувеселый окрик.

— Это вы, Скляр? — спросил Кондратьев. — Что, нашли старшину?

— Товарищ старший лейтенант, вы только, пожалуйста, не удивляйтесь. Вы не поверите своим ушам! — торопясь, оживленно заговорил невидимый в темноте Скляр. — Вы не поверите своим ушам, кого я привез от старшины! Он был у старшины...

— Что, что? — не понял Кондратьев. — О чем вы?

— Я вам не скажу, вы сами посмотрите! — восторженно воскликнул Скляр. — Это почти военная тайна...

Кравчуку не понравился такой вольный оборот речи.

— Что такое? — грозно повысил голос Кравчук. — Почему так со старшим лейтенантом?

— Я извиняюсь! Товарищ старший лейтенант... товарищ сержант, вы не поверите своим ушам! Вы сами посмотрите, — произнес Скляр секретным шепотом. — Там, в воронке!..

Они подошли к бомбовой воронке: снизу доносился говор. Кондратьев откинул брезент, и все трое соскользнули вниз, к костру, в дым, в тепло, в запах парных шинелей.

Возле огня в окружении солдат и потного растерянного старшины Цыгичко сидел на ящике капитан Ермаков, свежесбривший, веселый, в расстегнутой на груди шинели, ел из котелка горячую кашу, дул на ложку, глядя на вошедших темными улыбающимися глазами. И обрадованный Кравчук мгновенно успел заметить, как Шурочка прикусила белыми зубами губу, как золотая пуговка на высокой ее груди всколыхнулась, как у Кондратьева стало беззащитным лицо.

— Сережка!.. — воскликнул Ермаков, швырнул со звоном ложку в котелок и, оттолкнув умиленно заморгавшего старшину, встал навстречу. — Здравствуй, Сережка! Здравствуй, Шура! Здорово, брат Кравчук!

Он сильно обнял Кондратьева, потом Кравчука, шутливо обнял и Шуру, звонко поцеловал ее в щеку и засмеялся.

— А ну-ка садись все! Старшина, котелки да горячую кашу! Да пожирней у меня! Мигом!

— Слушаюсь, товарищ капитан!

Старшина Цыгичко, пожилой человек с острым хрящеватым носом и пухлым откормленным лицом, не вылез — выпорхнул из-под брезента, струйка песка зашуршала, скатываясь к сапогам Шурочки, а Кондратьев опустился на угол ящика, проговорил взволнованно:

— Неожиданно ты. Из госпиталя? А я вот за тебя командую...

— Очень рад, — сказал Ермаков. — Слушай, по дороге узнал, что у тебя четыре орудия на той стороне, а здесь ребята рассказали, что только два... Значит, половины батареи нет? Объясни, пожалуйста.

Кондратьев вздохнул, положил руки на колени и сконфуженно стал говорить, что только два орудия удалось переправить на правый берег: одно прямым попаданием разбило на пароме, на середине Днепра, плоты затонули; четвертое орудие еще не вернулось из армейских мастерских, оно там второй день; вчера убило лейтенанта Григорьева, ранило сержанта Соляника, наводчика Дерябина, остальные добрались сюда вплавь, с ранеными. Это было прошлой ночью...

Ермаков ковырнул ложкой дымящуюся кашу, бросил ложку в котелок.

— Значит, фактически батареи нет?

— Да, я сейчас от саперов. Просят людей. Бесконечные потери у них.

— Сколько же они просят людей?

Кондратьев закашлялся, отвел лицо, смущенно стряхивая слезы, выдавленные бухающим, простудным кашлем.

— Шесть человек.

По острову пронеслись скачущие разрывы — вдоль берега, ближе, ближе, — брезент упруго вогнулся. Все сидевшие в воронке напряженно начали есть, никто не глядел на Ермакова, на Кондратьева, все ожидали: шесть человек, значит, идти сейчас от этого костра туда, под огонь, в холодную воду, чтобы выполнять чужую работу саперов.

— На чужой шее хотят в рай съездить, — сказал Дервянко безразлично.

Лузанчиков, закутавшись в кравчуковскую плащ-палатку, блестя глазами, придвинулся к костру, Елютин с недоверчивым видом поскреб пустой котелок, перевернул его, на дно невозмутимо положил часы. И придержал их рукой, потому что часы, позванивая, заплясали от взрывов. Бобков преспокойно вытирал соломой ложку, посматривал на хмурого Кравчука, из-за спины его вопросительно выглядывал телефонист.

Разрывы скакали по острову. Один из них тяжело встряхнул воздух над брезентом.

Тогда в воронку, расплескивая на добротную офицерскую шинель кашу из котелков, шумно вкатился на ягодицах старшина Цыгичко, фальшиво посмеиваясь, сообщил:

— Як саданет коло кухни, чтобы его дьявол! Коней начисто побьет! А прожектором по берегу... да пулеметы... Чешет, як сатана!

Он возбужденно раздувал хрящеватый нос, ставя котелки, и почему-то искательно улыбнулся Шурочке. А она, напряженно следя за колебанием костра, проговорила с насмешливой дерзостью:

— Все снаряды рвутся около кухни. Давно известно! Стреляют у нас, а снаряды рвутся у вас.

Но в это мгновение никто не поддержал ее. Старшина осторожно вздохнул через ноздри, отошел в тень, аккуратно соскребывая щепочкой кашу на шинели.

— Шесть человек? — переспросил Ермаков и посмотрел на Кондратьева почти нежно. — Ни одного человека. Куда, к черту, вы годны сейчас? Наворачивай кашу.

— Я обещал саперам, — возразил Кондратьев, от волнения картавя сильнее обычного, и наклонился к огню, стиснув на коленях худые руки. — Видел, что происходит на острове? Саперы просто не успевают...

Ермаков носком сапога толкнул дощечку в костер, отчего зазвенела начищенная шпора, громко позвал:

— Старшина! — И когда Цыгичко со сладким ожиданием оборотил к нему сытое лицо свое, спокойно спросил: — Сколько раз за мое отсутствие опаздывали в батарею с кухней?

— Товарищ капитан!.. Як же можно?

— Полагаю, не меньше шести раз. Таким образом: отберите пять человек ездовых, вы — шестой. И в распоряжение саперов. Повара Караяна оставьте за себя. Все.

В быстрых, ищущих опору пальцах старшины сломалась щепочка, которой он чистил шинель, выбритые щеки задрожали.

— Товарищ капитан...

Ермаков внимательно оглядел его с ног до головы, спросил тоном некоторого беспокойства:

— Много ли у вас еще годных шинелей в обозе, Цыгичко?

— Нету, товарищ капитан... Як же можно?..

— На самогон меняете? Или на сало? У вас было двенадцать шинелей в запасе. — Ермаков бесцеремонно повернул мгновенно вспотевшего старшину на свет, опять осмотрел его. — Что ж, прекрасная офицерская шинель. Отлично сшита. Снимите, она вам мала. Вы растолстели, Цыгичко. У вас нефронтной вид. — И обернулся к Кондратьеву: — Снимите-ка свою шинель. И поменяйтесь. Как вы раньше не догадались, Цыгичко? Люди ходят в мокрых шинелях, а вы и ухом не шевельнете.

Цыгичко задвигался, не сразу находя пуговицы, начал торопливо расстегивать шинель, а Кондратьев, с красными пятнами на щеках, невнятно проговорил:

— Не стоит... Не надо это... Зачем?

Пальцы Цыгичко замедлили скольжение по пуговицам. Заметив это, Ермаков чуточку поднял голос:

— Снять шинель!

Старшина, суетливо ежась, как голый в бане, снял шинель, отстегнул погоны, и Кондратьев неловко накинул ее на влажную гимнастерку.

— Марш! — сказал Ермаков старшине. — И через десять минут с людьми к саперам. Думаю, ясно. — Он улыбнулся молчавшей Шурочке. — Пошли!

«Хозяин приехал», — удовлетворенно подумал строго наблюдавший все это сержант Кравчук.

И понимающе посмотрел в спину Шурочке, которая вслед за Ермаковым покорно выбиралась из воронки.

— Ты ждала меня, Шура?

— Я? Да, наверно, ждала.

— Почему говоришь так холодно?

— А ты? Неужели тебе женщин не хватало там, в госпитале? Красивый, ордена... Там любят фронтовиков... Ну, что же ты молчишь? Так сразу и замолчал...

— Шура! Я очень скучал...

— Скуча-ал? Ну кто я тебе? Полевая походная жена... Любовница. На срок войны...

— Ты обо всем этом подумала, когда меня не было здесь?

— А ты там целовал других женщин и не думал, конечно, об этом. Ах, ты соскучился? Ты так соскучился, что даже письмеца ни одного не прислал?

— Госпиталь перебрасывали с места на место. Адрес менялся. Ты сама знаешь.

— Я знаю, что тебе нужно от меня...

— Замолчи, Шура!

— Вот видишь, «замолчи»! Что ж, я ведь тоже солдат. Слушаюсь.

— Прости.

Он сказал это и услышал, как Шура ненужно засмеялась. Они остановились шагах в тридцати от воронки. Ветер, колыхая во тьме голоса все прибывавших на остров солдат, порой приносил струю тошнотворного запаха разлагающихся убитых лошадей, с сухим шорохом ворошил листья. Они сыпались, отрываясь от мотающихся на ветру ветвей, цеплялись за шинель, — по острову вольно гулял октябрь. Впотьмах смутно белело Шурино лицо, угадывались тонкие полоски бровей, но ему был неприятен этот ее ненужный смех, ее вызывающий, горечью зазвеневший голос. Ермаков сказал:

— Что случилось, Шура?

Он притянул ее за несгибающуюся спину, нашел холодные губы, с жадной нежностью, до боли, почувствовав свежую скользкость ее зубов. Она отвечала ему слабым равнодушным движением губ, тогда он легонько, раздраженно оттолкнул ее от себя.

— Ты забыла меня? — И, помолчав, повторил: — Забыла?

Она оставалась недвижимой.

— Нет...

— Что «нет»?

— Нет, — сказала она упрямо, и странный звук, похожий на сдвоенный глоток, вырвался из ее горла.

— Шура! В чем дело? — Он взял ее за плечи, несильно тряхнул.

Она все молчала. Справа, метрах в пятнадцати, ломаясь через кусты и переговариваясь, прошла группа солдат к Днепру, один сказал: «К утру успеть бы...»

Нетерпеливо переждав, он опять обнял ее, приблизил ее лицо к своему, увидел, как темные полосы бровей горько, бессильно вздрогнули, и, откинув голову, кусая губы, она беззвучно, прерывисто, стараясь сдерживаться, заплакала. Она словно рыдала в себя, без слез.

— Ну что, что? — с жалостью спросил он, прижимая ее, вздрагивающую, к себе.

— Тебя убьют, — выдавила она. — Убьют. Такого...

— Что? — Он засмеялся. — Прекрати слезы! Глупо, черт возьми! Что за панихида?

Он нашел ее рот, а она резко отклонила голову, вырвалась и, отступая от него, прислонилась спиной к стене; оттуда сказала злым голосом:



— Не надо. Не хочу. Ничего не надо. Мы с тобой четыре месяца. Фронтная любовница с ребенком?.. Не хочу! И меня могут убить с ребенком...

— Какой ребенок?

— Он может быть.

— Он, может быть, есть? — тихо спросил Ермаков, подходя к ней. — Что уж там «может быть»! Есть?

— Нет, — ответила она и медленно покачала головой. — Нет. И не будет. От тебя не будет.

— А я бы хотел. — Он улыбнулся. — Интересно, какая ты мать. И жена... Ну, хватит слез. В госпитале я тебе не изменял. Умирать не собираюсь. Еще тебя недоцеловал. Поцелуй меня.

Шура стояла, прислонясь затылком к сосне.

— Ну, поцелуй же, — настойчиво попросил он. — Я очень соскучился. Вот так обними (он положил ее безжизненные руки к себе на плечи), прижмись и поцелуй!

— Приказываешь? Да? — безразличным голосом спросила она, пытаясь освободить руки, однако он, не отпуская, уверенно обвинил их вокруг своей шеи.

— Глупости, Шура! Ведь я еще не командир батареи. Пока Кондратьев.

— А уже всем приказывал! Как ты любишь командовать!

— Все же это моя батарея. Честное слово, укокошит ни с того ни с сего, как ты напророчила, и не придется целовать тебя...

Шура со всхлипом вздохнула, вдруг тихо подалась к нему, слабо придавилась грудью к его груди, подняла лицо.

Он крепко обнял ее, ставшую привычно податливой.

«Опять, все опять началось», — подумала Шура с тоской, когда они шли к батарее.

Ермаков говорил ей устало:

— Я рвался сюда. К тебе. Неужели не веришь?

«Нет, я не верю, — думала Шура, — но я виновата, виновата сама... Ему нужно оправдывать ненужную эту любовь, в которую он тоже не верит... Все временно, все ненадежно... Он рвался сюда? Нет, не я тянула его. Он относится ко мне как вообще к любой женщине, ни разу не сказал серьезно, что любит. Только однажды сказал, что самое лучшее, что создала природа, — это женщина... мать... жена... Жена!.. Полевая, походная... А если ребенок? Здесь ребенок?» Злые, внезапные слезы подступили к ее горлу, сдавили дыхание.

А он в это время, сильно прижимая ее плечо к своему, спросил обеспокоенно:

— Ну, почему молчишь?

Тогда она ответила, сглотнув слезы:

— В батарею пришли.

В отдаленном огне ракет возникли темневшие между деревьями снарядные ящики. Силуэт часового не пошевелился, когда под ногами Бориса и Шуры зашуршали листья.

— Там, у ящиков! Часовой! — окликнул Ермаков. — Заснули? Унесут в мешке к чертовой матери за Днепр!

Круглая фигура часового затопталась, задвигалась, и тут же ответил обнадеживающий голос Склера:

— Я не сплю, нет. Я слушаю, как ветер свистит в кончике моего штыка. Все в порядке.

— Так уж все в порядке? — сказал Ермаков, поглядев на скользящий по кромке берега голубой луч прожектора. — Немцы жизни не дают, а ты — «в порядке»...

— Так точно. Вчера искупали. Нас и пехоту. А пехота вся на этот берег — назад. Как мухи на воду. Все обратно, на остров... А если опять искупают?

— Позови Кондратьева, — приказал Ермаков.

— А он старшину с ездовыми к саперам повел.

— Узнаю интеллигента. Не мог послать Кравчука, — насмешливо сказал Ермаков. — Пошли, Шура, к ним.

— Куда? — Шура стояла, опустив подбородок в воротник шинели.

— К саперам.

— Не надо этого. Не надо! — неожиданно страстно попросила она. — Зачем тебе?

Он посмотрел на нее удивленно. Никогда раньше она не вмешивалась в его дела; просто он не допустил бы, чтобы она как-то повлияла на его поступки. Но почему-то сейчас, после близости с ней, после ее приглушенных слез, к которым он не привык, которые были неприятны ему, он не мог рассердиться на нее. И он ответил полуслушливо, не заботясь, что подумает об этом Скляр:

— Война тем война, что везде стреляют. Значит, ты не разлюбила меня, Шура? — нагнулся, отцепил шпоры, небрежно кинул их на снарядный ящик. — Спрячь, Скляр.

— Это уж верно, демаскируют, — согласился Скляр. — Ни к чему. А мне как, товарищ капитан? К вам опять в ординарцы? Или как?